
Закон и порядок в дореволюционной России: новые интерпретации американских историков

Ольга Большакова

Law and order in pre-revolutionary Russia: recent American studies

*Olga Bolshakova (Institute of Scientific Information on Social Sciences,
Russian Academy of Sciences, Moscow)*

Хотя вопросам законности и права в зарубежной русистике посвящено не так много исследований, к концу 1980-х гг. в ней сложилась довольно стройная концепция, базирующаяся на работах Марка Раева, Ричарда Уортмана, Теодора Тарановского и других историков¹. Центральное место в ней занимают понятия правового государства и законности как противоположности «произволу» самодержавной власти, причём построение правового государства выступает необходимым условием модернизации России, т.е. движения по европейскому пути, к конституционному правлению. Суть процесса, в соответствии с идеями Макса Вебера, понимается как эволюция от личной, «деспотической» власти к формально-рациональной, основанной на унифицированном законе и осуществляемой соответствующими институтами. Важнейшей ступенью движения в этом направлении признаётся судебная реформа 1864 г., «самая далекоидущая» из всех Великих реформ, вдохновлённая западными идеями права и нацеленная на воспроизведение западных институтов. Большую роль в рассматриваемой концепции играет понятие правосознания, в более широком смысле – правовой культуры, которая является, с одной стороны, основой для перехода к правовому государству, а с другой – источником бесконечных конфликтов между теми, кто привержен идее законности, и страдающими правовым нигилизмом сторонниками личной («харизматической») власти.

Поскольку исход событий известен – царская Россия так и не смогла обеспечить переход к верховенству права (rule of law), концепция предполагает выявление причин этого провала и прихода к власти большевистской партии. Они традиционно виделись историкам в отсутствии необходимых юридических институтов и достаточного уровня правосознания, а также, более конкретно, в несовместимости современной («модерной») системы правосудия, в частности юридической профессии, с самодержавным («традиционным») правлением.

В основе кратко (и достаточно упрощённо) изложенной здесь концепции лежит традиционное понимание истории России как страны, не соответствующей западным стандартам. Однако в 1990-е гг. такой «нормативный» подход перестал устраивать зарубежных историков. Критике подверглись и сами основы понимания исторического процесса как движения человечества к общей позитивной цели (идея прогресса, европоцентризм, детерминизм, телеология), и аналити-

© 2016 г. О.В. Большакова

¹ Raeff M. The well-ordered police state: Social and institutional change through law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, 1983; Wortman R. The development of a Russian legal conscience. Chicago, 1976; Тарановский Т. Судебная реформа и развитие политической культуры царской России // Великие реформы в России, 1855–1874. М., 1992. С. 301–316; и др.

ческие инструменты, интерпретирующие исторические данные в рамках бинарных оппозиций (Запад/Восток, прогресс/отсталость, свобода/рабство). Можно сказать, что критика развивалась по двум линиям: с одной стороны, глубоко изучались страны и народы, не принадлежащие к «цивилизованному» миру, с другой — всё новые исследования самого этого мира дезавуировали его функцию исторического эталона, продемонстрировав весьма ограниченную (и противоречивую) роль рациональности и формальных институтов в его истории.

Для русистики критика европоцентризма имела первостепенное значение прежде всего потому, что историография времён холодной войны целиком строилась на противопоставлении «Россия/Запад», вторая часть которого содержала положительные характеристики и обозначала позицию превосходства. Кроме того, проблема «Россия и Запад» играла существенную роль в истории и культуре страны, строившей свою идентичность между Востоком и Западом². В наступивший после распада СССР сложный период, когда пересматривались сами основы профессии, американские русисты обратились к этой проблеме в новом интеллектуальном климате, где большую роль играли постколониальные исследования и антропология с идеями о недопустимости «западного колониализма», его дискурсивных и культурных пережитков.

В рамках таких тенденций довольно быстро увенчались успехом попытки включить Россию в «семью европейских наций», особенно когда речь шла об императорском периоде её истории. Однако сам по себе этот факт ничего не значил бы, если бы не сопровождался стремлением отказаться от уничижительного «нормативного подхода» и на общих основаниях интегрировать Россию в мировую историю. По словам Д. Островски, то, что европоцентристскому историку кажется «отсталым», чаще всего означает лишь «иное»: другие формы организации социальной жизни или способы решать стоящие перед страной проблемы³.

Американские русисты занялись глубоким изучением социума и культуры, старательно избегая «иерархических сравнений» России и Запада, но при этом представляя историю страны в общеевропейском, а зачастую в общемировом контексте. В результате сформировался на удивление позитивный историографический образ, который, однако, не подразумевает, что в России «всё было хорошо» или что «всё в ней было, как на Западе».

Тем не менее, пытаясь пройти между Сциллой «русской самобытности» и Харибдой либерального универсализма, американские русисты не могут полностью отказаться от представления о конечной цели, к которой движется всё человечество. Эта столь критикуемая телеология утратила организующую роль в исторических трудах, но продолжает незримо (а иногда и вполне явно) в них присутствовать. Она релятивизировалась, но вполне предсказуемо устояла перед натиском пост- и постпостмодернизма. Именно данное обстоятельство, пожалуй, обусловило тот факт, что тема верховенства права и законности интерпретируется в привычных рамках концепции о «провале» либерального проекта в дореволюционной России.

² Не стоит думать, что Россия представляла собой уникальный случай: Германия также настаивала на своём промежуточном, «срединном» положении, правда, между Западной и Восточной Европой — и это лишь один из примеров подобной стратегии построения идентичности на основе «воображаемой географии». См.: Germany and «the West»: The history of a modern concept / Ed. by R. Bavaj, M. Steber. N.Y.; Oxford, 2015.

³ Ostrowski D. Towards the integration of early modern Russia into world history // Eurasian slavery, ransom and abolition in world history, 1200–1860 / Ed. by C. Witzentrath. N.Y., 2015. P. 141.

В 1980–1990-е гг. социальные историки начали опровергать эту точку зрения, обратившись, в частности, к изучению правосознания крестьянства и городских низов⁴. В основе их работ лежало стремление доказать, что в Российской империи постепенно формировалось правосознание, приближающееся к европейским нормам⁵. Исследования специалистов по Московской Руси, объединяемых условным названием «Гарвардской школы», также достаточно давно возвращаются вокруг проблем правосознания, правосудия и правоприменения. Основное внимание в них также уделяется практике, а не законотворчеству, причём демонстрируется, что закон играл ключевую роль как в управлении страной, так и в повседневной жизни общества⁶. Исследования гражданского права в императорской России, главным образом, связанного с институтом брака, в свою очередь, во многом корректируют выводы, делавшиеся на материале политических и уголовных преступлений, сосредоточиваясь на «гибкости» правоприменения⁷.

Две недавно опубликованные книги вносят вклад в это критическое направление, предлагая новое прочтение проблемы права и законности в истории России⁸. Исследование известного специалиста по истории допетровской Руси, профессора Стэнфордского университета Нэнси Шилдс Коллманн «Преступление и наказание в России раннего Нового времени» прямо вступает в полемику с традиционной историографией, проводившей резкие разграничения между «властью закона» в «рациональной» Европе и «деспотизмом» в России. Главной мишенью её критики является нормативность суждений многих историков. По её мнению, впервые нормативный подход к российским реалиям был применён европейцами, посещавшими Россию в XVI–XVIII вв. и опиравшимися в своих описаниях на категории свободы и деспотизма. Они сравнивали Московию с ведущими государствами Европы и находили её «менее цивилизованной, менее сложной в религиозном отношении, более деспотической и жестокой», иными словами, «грубой и варварской»⁹.

Коллманн не отрицает, что Московия была менее развитой во многих отношениях, однако большее значение имеет для неё тот факт, что в своих записках иностранцы использовали жёсткие метафорические формулы, которым была суждена долгая жизнь. Она указывает, что в XIX в. представители русской государственной школы сосредоточивали внимание на неограниченной власти

⁴ Frierson C. «I must always answer to the law...» Rules and responses in the reformed volost' court // Slavonic and East European review. Vol. 75. 1997. № 2; Neuberger J. Popular legal cultures. The St. Petersburg *mirovoy sud* // Russia's Great reforms, 1855–1861. Bloomington, 1994. P. 231–246, 308–334; Burbank J. Russian peasants go to court: Legal culture in the countryside, 1905–1917. Bloomington, 2004; и др.

⁵ Подробнее см.: Большакова О. В. Власть и политика в России XIX – начала XX века: Американская историография. М., 2008. С. 193–194.

⁶ Kivelson V. A. Autocracy in the provinces: The Muscovite gentry and political culture in the seventeenth century. Stanford, 1996; Kollmann N. Sh. Kinship and politics: The making of the Muscovite political system, 1345–1547. Stanford, 1987; *idem*. By honor bound: State and society in Early Modern Russia. Ithaca, 1999.

⁷ Engel B. A. Breaking the ties that bound: The politics of marital strife in late imperial Russia. Ithaca, 2011; Marrese M. L. A woman's kingdom: Noblewomen and the control of property in Russia, 1700–1861. Ithaca, 2002; Wagner W. Marriage, property, and law in late imperial Russia. Oxford, 1994.

⁸ Kollmann N. Sh. Crime and punishment in Early Modern Russia. Cambridge, 2012; McReynolds L. Murder most Russian: True crime and punishment in late imperial Russia. Ithaca; L., 2013.

⁹ Rude and barbarous kingdom: Russia in the accounts of sixteenth-century English voyagers / Ed. by Berry L. E., Crummey R. O. Madison, 1968; Ed. 2: 2012; Rude and barbarous kingdom revisited: Essays in Russian history and culture in honor of Robert O. Crummey / Ed. by Dunning Ch. S. L., Martin R. E., Rowland D. Bloomington, 2008.

самодержцев, которая, по их мнению, не уравнивалась узаконенными правами социальных групп или институтов. Критикуя правовую систему России за отсутствие рациональности и предсказуемости, за коррумпированность и неэффективность, русские историки и мыслители создали то, что впоследствии станет «веберовским идеальным типом», пишет Коллманн. В свою очередь, советские историки, продолжает она, не желая того, увековечили образ России как уникальной страны, отличной от Запада¹⁰. Он занимал преобладающее положение в зарубежной историографии второй половины XX в., и лишь в последние 20 лет начал размываться благодаря новым исследованиям, раскрывшим разнообразие грани истории России и показавшим общность многих процессов, протекавших на Европейском континенте¹¹.

Поставив задачу развенчать дихотомию «рациональный/деспотический», автор, однако же, не даёт какого-либо определения деспотизма, чтобы затем последовательно его оспорить, а скорее обозначает таким образом свою позицию: выйти за рамки жёстких противопоставлений, перейти от абстрактных формул к «практике», насколько это позволяют имеющиеся источники. Обратившись к истории уголовного права и судопроизводства в России Раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.), Коллманн рассматривает её в контексте протекавшего в тот период в Европе и Евразии процесса государственного строительства, сутью которого являлась централизация власти. По её мнению, «русский опыт» вполне вписывается в картину становления государств современного типа (*modern states*) в Европе и Османской империи, наращивавших «мускулы власти» – инфраструктуру, включавшую наряду с органами управления территорией новые кодексы законов и систему судостроительства¹². Фактически кодификация и создание судебной системы являлись основными инструментами централизации, и Московское царство сумело, как считает Коллманн, использовать их исключительно эффективно. В этом пункте её подход существенно отличается от традиционных констатаций отсутствия в России правовых институтов и традиций – напротив, в данном обстоятельстве исследовательница усматривает залог успеха Московии, сумевшей, несмотря на труднейшие географические условия, нехватку материальных и людских ресурсов, создать централизованную империю.

Вслед за Дж. Бербанк и Ф. Купером¹³ автор констатирует, что в России Раннего Нового времени формировалась типичная для многонациональных империй «политика дифференциации», сохранявшая за местными элитами достаточно большую свободу и оставлявшая за центральной властью, прежде всего государем, право решения ключевых вопросов – сбор налогов, контроль над вооружёнными силами, отправление уголовного правосудия. Московским государям удалось установить контроль над элитой и создать сеть учреждений разного порядка и с разными функциями, не встретив сопротивления со сторо-

¹⁰ *Kollmann N. Sh. Crime and punishment... P. 5–6.*

¹¹ *Davies B. State power and community in Early Modern Russia. N.Y., 2004; Kivelson V. Cartographies of tsardom: The land and its meanings in seventeenth-century Russia. Ithaca, 2006; Rustemeyer A. Dissens und Ehre. Majestätsverbrechen in Russland (1600–1800). Wiesbaden, 2006; Schmidt Chr. Sozialkontrolle in Moskau: Justiz, Kriminalität und Leibeigenschaft, 1649–1785. Stuttgart, 1996; Weickhardt G. G. Due process and equal justice in the Muscovite codes // Russian review. Vol. 51. 1992. № 4. P. 463–480.*

¹² *Brewer J. The sinews of power: War, money and the English state, 1688–1783. Cambridge, 1988.*

¹³ *Burbank J., Cooper F. Empires in world history: Power and the politics of difference. Princeton, 2010.*

ны городов или отдельных регионов, как это было в странах Западной Европы. Государство могло достаточно легко продвигать кодифицированные законы на территориях, где фактически отсутствовали традиции формального правосудия, и беспрепятственно присвоило себе полномочия в области уголовных преступлений, оставив местным властям более мелкие правонарушения. В конечном счёте, пишет Коллманн, создание сильной системы судоустройства, «завязанной» на самодержце, отвечало интересам общества в условиях разгула преступности в XVI в.

В то же время Коллманн подчёркивает, что стремление к централизации и реальная централизация – вовсе не одно и то же, и возможности центра, стремившегося продвигать формальный писанный закон, неформальным образом ограничивались местной ситуацией. Как и повсюду в Европе, формализованные институты правосудия действовали в симбиозе с «гибкой практикой и народными концепциями права», так что при ближайшем рассмотрении «европейские “рациональные” государства выглядят менее рациональными, а... “самодержавие” Московии – менее самодержавным», – замечает Коллманн¹⁴.

Сравнивая судебные системы Англии, Франции, Польско-Литовского государства, Габсбургской, Османской империй и России, автор выделяет не только общие черты, но и специфику. Согласно идеологическим установкам Московии, царь являлся для своего народа «благочестивым пастырем и ветхозаветным судьёй», защищавшим невинных и каравшим нечестивцев. В этом Коллманн усматривает существенное отличие России от Западной Европы, где в то время уже формировались политические дискурсы, ставившие перед монархической властью задачи достижения «общего блага». Риторика, связанная с идеей «регулярного государства», возникала в России лишь в царствование Петра I, а пока кодексы Московии, даже Соборное уложение 1649 г., по словам автора, оставались «совершенно инструментальными». Закон в Московии был «практическим», сфокусированным на установлении единой для всех процедуры и регламентации служебных обязанностей судебных чиновников. В том же русле лежит и другое отличие, всегда поражавшее иностранных наблюдателей, а затем и историков, – отсутствие в Московии юридической профессии – системы нотариата и адвокатуры, специальных учреждений для подготовки юристов.

Обширное исследование Коллманн основано на большом корпусе опубликованных и архивных источников, которые она анализирует поистине виртуозно, решая крайне непростую задачу – реконструировать систему судоустройства и практику правоприменения. Уделяя определённое внимание «долгому XVI веку», когда в России происходило формирование правовых институтов, автор сосредоточивается на периоде XVII в. – первая четверть XVIII в., что позволяет ей поставить под вопрос традиционные представления о «петровском разрыве».

В первой части книги рассматриваются нормы и институты уголовного права в Московии и Российской империи, описываются учреждения, в чьей юрисдикции находились уголовные преступления: Разбойный приказ, воеводские, церковные и помещичьи суды; особое внимание Коллманн уделяет персоналу этих учреждений. Основываясь на региональном материале, она описывает повседневную практику деятельности как высших чинов («Воевода и губной староста на Белоозере и в Арзамасе»), так и низших канцелярских служащих,

¹⁴ *Kollmann N. Sh. Crime and punishment... P. 5.*

в частности, корпорации площадных подьячих — «законоведов-практиков», рекрутируемых из местных жителей. Этот сюжет позволяет ей обратиться к вопросу о профессионализме судебных чиновников в России. Отдельно рассматривается проблема взяточничества и борьбы с ним. По мнению автора, то, что мы называем коррупцией, в Раннее Новое время зачастую расценивалось как дарение, позволяющее правосудию свершиться в срок и к обоюдному удовлетворению сторон. Проблема заключалась, как правило, лишь в том, чтобы чиновники соразмеряли свои запросы с конкретной ситуацией¹⁵.

Подобным образом реконструируется в книге прописанный в законе ход уголовного процесса, в частности, арест подозреваемого, выдвижение обвинения, порядок сбора доказательств, допрос обвиняемого и получение показаний свидетелей, наконец, вынесение, пересмотр и утверждение приговора. В отдельных главах рассматриваются практика применения пыток, а также участие местных общин в судебном процессе и их возможности оказывать влияние на его ход. Автор подчёркивает, что все описанные практики находят параллели в деятельности судебных систем европейских стран. Завершает первую часть книги глава о реформах судебной системы, проведённых Петром I в контексте введения им европейской модели «хорошо организованного» (регулярного) полицейского государства. По мнению Коллманн, реформы привнесли значительные элементы рациональности в судебную систему империи, однако в практической деятельности судов наблюдается скорее преемственность, чем радикальный разрыв с предшествующим веком.

Наиболее существенные, с её точки зрения, инновации, которые касались главным образом идеологии, лежавшей в основе судебной системы, Коллманн рассматривает во второй части книги. Она уделяет здесь большое внимание истории телесных наказаний до и после 1649 г. В главе, посвящённой ссылке, она прослеживает возникшую после Смутного времени тенденцию к постепенному отказу от смертной казни и «членовредительства» (усечения рук и ног) в пользу отправки клеймёных преступников в Сибирь. К сожалению, ссылка — пожалуй, единственный сюжет, в котором автор не провела параллели с другими странами. В остальных случаях, особенно в главах о смертной казни за тяжкие уголовные и политические (или антигосударственные) преступления (которые включали в себя ереси и ведовство), эти параллели присутствуют постоянно.

Сквозной темой исследования является проблема насилия, прежде всего «санкционированного» насилия в виде пыток и казней, его функций и, главное, его «градуса» в России XVI–XVIII вв. Отдельно автор рассматривает публичную сторону насилия в контексте европейской парадигмы «спектаклей страдания». Коллманн отмечает, что в Московии, в отличие от Западной Европы, отсутствовали развитые ритуалы публичных казней, призванные утвердить в глазах подданных легитимность верховной власти. По её наблюдениям, ту же функцию устрашения осуществлял здесь временной фактор — стремительность вынесения смертного приговора, а театральный эффект достигался иными, чем в Европе, средствами, например помилованием приговорённого в последний момент. Однако на протяжении XVII в. ритуализация нарастала, особенно в отношении самых серьёзных преступлений, достигнув пика в царствование Петра I.

На примере стрелецкой казни автор демонстрирует, что молодой царь отверг традиционную для Московии идеологию монаршей легитимности и утвер-

¹⁵ Ibid. P. 418.

дил своё суверенное право на показательное насилие за антигосударственные преступления. На смену московской идеологии совещательности и «патримониального взаимодействия» царя и народа приходит понятие абсолютной, не ограниченной христианскими традициями власти как чистого насилия¹⁶. Градус насилия существенно повысился, причём многие его новые формы и визуальные репрезентации представляли собой европейские заимствования. Тем не менее Коллманн склонна утверждать, что для Московского государства и позднее для Российской империи была характерна своя логика в применении государственного насилия, которая всегда отличалась сбалансированностью и отнюдь не свидетельствовала о какой-то «исконной brutality». По мнению Коллманн, исследованные ею практики судопроизводства и правоприменения так же, как и способы подавления мятежей, свидетельствуют как раз о том, что к Московии не применим традиционный ярлык «деспотизма»¹⁷.

Что касается второй части опровергаемой Коллманн бинарной оппозиции — рациональности, то здесь авторскую аргументацию следует рассмотреть особо. В отличие от конфликтной историографии прежних лет, всюду видевшей противостояние и несовместимые противоречия, авторы современных исследований склонны говорить о сбалансированности и интеграции. В книге продемонстрировано, что судебная система Московии являлась достаточно формализованной и рациональной, при этом закон, признавая и утверждая первенство царского правосудия, очень многое отдавал на откуп местным сообществам, которые, по словам автора, «сотрудничали с судами и манипулировали ими». По мнению Коллманн, в данном случае следует говорить не столько о «внутренних противоречиях», сколько об «интеграции индивидуальных стратегий управления с формализованной процедурой, институтами и законом»¹⁸, причём даже если судебные приговоры отличались от предписанных законом, это вовсе не свидетельствует о «произволе». Скорее, речь идёт о хорошо работающей, сбалансированной правовой культуре в государстве, где бюрократический контроль в силу разных причин, прежде всего обширности территории и редкости населения, был чрезвычайно затруднён. Правовую культуру Московского государства автор характеризует как живую, разнообразную, с массой нюансов, о чём свидетельствует активное участие населения в процессе судопроизводства, умение оперировать такими судебными инструментами, как подача иска, апелляция, смена юрисдикции, жалоба на злоупотребления.

Фундаментальное исследование Коллманн представляет собой современный образец социальной истории, с характерным для этого направления стремлением пересмотреть и опровергнуть историографические клише. Монография профессора университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Луизы Макрейнольдс «Чисто русское убийство: настоящее преступление и наказание в России второй половины XIX — начала XX в.»¹⁹ принадлежит к новейшему жанру культурной истории, с совершенно иными стилистикой и системой аргументации. Автор избегает прямой конфронтации с предшествующей историографией, но её подходы и трактовки явно не вписываются в «классическую» концепцию, оценивающую судебную реформу с точки зрения её возможного вклада в реформу политическую. В хронологическом отношении исследование Макрейнольдс отстоит

¹⁶ Ibid. P. 415.

¹⁷ Ibid. P. 158.

¹⁸ Ibid. P. 27.

¹⁹ McReynolds L. Op. cit.

от книги Коллманн на два столетия, но также посвящено не букве закона, а его практическому применению. Обращение к практике – самая успешная стратегия тех, кто стремится дезавуировать традиционный подход к истории суда и законности в России, реализуемый в духе «веберовских идеальных типов». В каком-то смысле Макрейнольдс продолжает линию, намеченную социальными историками К. Фрайерсон и Дж. Бербанк в исследованиях последствий судебной реформы 1864 г., однако рассматривает эту проблему в ином ракурсе, сопоставимом скорее с исследованием Дж. Нойбергер, посвящённым культуре городских низов²⁰.

Анализируя громкие судебные процессы второй половины 1860–1910-х гг. по делам об убийствах, которые рассматривались новым институтом присяжных заседателей, автор исследует функционирование пореформенной системы российского правосудия, но прежде всего – реакцию общества на «сейсмические сдвиги, запущенные Великими реформами». Причём речь в книге идёт скорее о «публике», включавшей в себя представителей всех слоёв общества, в основном о городских обывателях и о том, как они понимали закон. Государство фактически исключено из анализа, и автор, вполне принимая понятие «самодержавного произвола», дистанцируется от политических процессов; она рассматривает только убийства, совершённые на бытовой почве либо с корыстными целями.

Как и в монографии Коллманн, немалую роль в исследовании играет бинарная оппозиция, на этот раз «рациональное/иррациональное». «Рациональное» ассоциируется с творцами судебной реформы и нормами, которые они стремились провести в жизнь – иррациональную по самой сути. Однако поскольку в центре внимания автора находится нарушение закона, а не законотворчество, ориентирующееся на рационализм, предметом анализа в книге является всё же иррациональное и прежде всего эмоциональные реакции. Макрейнольдс указывает на существенную разницу между законодателями и преступниками: если первые считали юриспруденцию наукой, то вторые «знали, что это искусство»²¹. При этом автор вовсе не стремится жёстко противопоставить рациональное иррациональному, поскольку и законы, и преступление – категории, во многом зависящие от субъективной культуры, их значение и интерпретация изменчивы.

Подчёркивая «революционизирующий эффект» судебных уставов 1864 г., позволивших населению России начать движение «от подданных к гражданам», Макрейнольдс не отрицает, что Великие реформы вывели царскую Россию на путь, по которому шли страны Западной Европы, двигавшиеся от средневековой традиции к современности – «модерности». Этот термин подразумевает в сегодняшней историографической ситуации не столько сам хронологический период Нового времени, сколько совокупность ряда условий, включая такие последствия промышленной, политической и социальных революций, как повышение роли науки, ускорение прогресса, в том числе в бытовом отношении, изменение взаимоотношений индивида с обществом и государством. Используя его, Макрейнольдс обозначает свою принадлежность к определённому течению в историографии, которое придаёт большое значение, с одной стороны, идеям Просвещения, оказывавшим влияние на проекты трансформации общества и человека в рациональном духе, с другой – массовой культуре, выплеснувшейся во второй

²⁰ *Neuberger J.* Hooliganism: Crime, culture, and power in St. Petersburg, 1900–1914. Berkeley, 1993.

²¹ *McReynolds L.* Op. cit. P. 6.

половине XIX в. на улицы больших городов и постепенно завоевывавшей деревню.

Рассматриваемые автором громкие судебные процессы — безусловно, продукт и примета модерности с её тягой к массовости, сенсационности и публичности. Они вызывали живой интерес у публики и широко освещались в газетах, да и сама новая система состязательного правосудия носила публичный характер и не была лишена театральности. Избранный угол зрения — по словам Макрейнольдс, её интересует не столько реконструкция «реальных событий», сколько то, что они означали для современников и как интерпретировались ими, — обусловил специфику использованных источников. Наряду с архивными материалами основу исследования составили газетные отчёты, речи защитников и прокуроров, журнальная полемика с особым вниманием к бульварной прессе, а также разнообразные произведения детективного жанра, включая кинофильмы. Иными словами, автор опирается главным образом на продукцию массовой культуры, являя в ней «множественные дискурсы, вызванные к жизни фактом убийства»²².

Феномен массовой культуры наряду с ярко выраженным космополитизмом не лишён и национальной специфики, что нашло отражение в удивительно ёмком названии книги. Намерение автора выявить «чисто русский» характер преступления, его расследования и судебного разбирательства сочетается со стремлением включить своё исследование в общемировой контекст массовой культуры, в том числе современной американской. «True crime» обозначает в английском языке не только жанр документального детектива — так назывались и популярные компьютерные игры начала 2000-х гг., давшие импульс к художественному переосмыслению этих сюжетов писателями и кинематографистами. Явно нацеленная на то, чтобы пробудить интерес у американского читателя, книга Макрейнольдс полна ассоциациями с сегодняшними и историческими американскими (и европейскими) реалиями.

Следуя за популярным сериалом «Закон и порядок», автор открывает каждую главу описанием преступления и на материале его расследования рассматривает отдельную тему: новую систему правосудия, становление профессии судебно-медицинского эксперта, жюри присяжных, реформирование полиции и др. Только одна из глав открывается анализом не реального, а литературного преступления, совершённого в Петербурге в 1866 г. Родионом Раскольниковым, и посвящена стремительно развивавшемуся в России жанру криминальной литературы. Автор исходит из того, что художественная литература детективного жанра выполняла важную функцию, одновременно «формируя и отражая культурные ценности, ассоциирующиеся с убийством».

Макрейнольдс подчёркивает, что преступления, рассматриваемые в книге, так же как и их сенсационное освещение в бульварной прессе, являются городским феноменом, составной частью процесса урбанизации, последовавшим за волной реформ. Будучи «золотой жилой» для прессы, убийство получало самое широкое освещение «из первых рук», отчёты бойких репортёров сопровождались иллюстрациями, призванными дать живое представление о расследовании и судебном процессе. В результате публика, читавшая криминальные новости и заполнявшая залы судебных заседаний, могла составить собственное мнение и, что с точки зрения автора самое главное, могла сделать своё понимание справедливости публичным достоянием. В книге, в частности, описывается феномен

²² Ibid. P. 5.

так называемых судебных дам, не пропускавших самые интересные процессы, преподносивших букеты обвиняемым и собиравших деньги в их пользу.

Этот мир сенсаций был плохо совместим с рациональностью и регламентацией, лежавшими в основе судебных уставов, авторы которых предполагали посредством введения формальной процедуры исключить личный фактор в принятии судебных решений. Макрейнольдс постоянно отмечает, что практика бросала вызов идеалам Великих реформ, ставившим объективное правосудие выше всего. Особенно ярко этот конфликт проявился в деятельности адвокатов, статусу которых законодатели уделили большое внимание.

В отличие от Америки, где главную роль в суде всегда играл прокурор, в России адвокат получил равные права с государственным обвинением, причём последнее слово в суде оставалось за защитой. Очень быстро поняв, что участвуют в своего рода социальном спектакле, защитники начали апеллировать к эмоциям суда и присяжных. В книге сравниваются биографии и профессиональный стиль двух адвокатов – кн. А.И. Урусова, почти всегда добивавшегося успеха благодаря «бархатному баритону», аристократическим манерам и умению выбрать наиболее выигрышную стратегию, и К.К. Арсеньева, представлявшего собой «идеал защитника», каким его видели составители Судебных уставов 1864 г. Его речи отличались строгой логикой и оставляли впечатление серьёзности и продуманности, что, однако, вовсе не гарантировало успеха. Довольно быстро адвокаты стали мишенью для критики. «Софистов XIX века» обвиняли в торговле убеждениями и талантом, вольных интерпретациях закона, даже в торговле правосудием; остро встала проблема адвокатской этики. Получил распространение тезис «защита живого субъекта от мёртвого кодекса», а идеалы объективности и истины, пишет Макрейнольдс, всё чаще отступали перед субъективностью и обстоятельствами. Она отмечает, что довольно часто «деспотическое самодержавие» в лице прокурора оказывалось в парадоксальном положении защитника постулата классического либерализма, гласившего, что «объективный» закон выше «субъективного» человека²³.

Рациональный элемент превалировал на этапе следствия, хотя и здесь присутствовал сильный эмоциональный компонент. От судебных следователей требовалась беззаветная преданность идеалам законности и интересам дела (автор уделяет большое внимание этому важнейшему, по её мнению, новому институту). Столь же беззаветную преданность, но уже науке, демонстрировали судебно-медицинские эксперты; становлению этой новой профессии посвящена отдельная глава «Криминология». Развитие науки и идей о природе преступления автор вписывает в европейский контекст, демонстрируя, что русские эксперты, учёные и мыслители шли по тому же пути, что их западные коллеги. В тот период в центре внимания криминологии находилась проблема ответственности, тесно связанная с философскими дебатами о свободе воли и человеческом «я». Как и повсюду в Европе, юристы и криминологи постепенно начали переносить акцент с социальной проблемы преступности на личность преступника.

В таком контексте особое значение приобрела психиатрия, в том числе судебная, поскольку ответственность за преступление теперь снижалась в связи с частичной либо полной невменяемостью преступника, которая доказывалась психиатрами совместно с защитой. Макрейнольдс акцентирует роль современных научных знаний в судебном разбирательстве, которые формировали от-

²³ Ibid. P. 45.

ношение к тяжкому преступлению в обществе и серьёзно влияли на позицию присяжных. Учение Ломброзо об антропологических типах преступников, не получив признания у российских экспертов, было широко известно в обществе, как и теория французского психиатра Мореля о дегенеративном вырождении. Публика с готовностью воспринимала данные судебно-психиатрической экспертизы, легко усваивала и использовала её терминологию: термины «психопат» и «психопатка» быстро и прочно вошли в повседневный лексикон.

Рассматривая «самый демократический» институт Российской империи — жюри присяжных, автор прослеживает, как государством постепенно урезалась его компетенция. Однако больше всего Макрейнольдс интересуется вопросом об оправдательных приговорах, выносившихся «судом улицы» (по известному выражению М. Н. Каткова). И она решает его с цифрами в руках, хотя и утверждает, что с каждым конкретным случаем следует разбираться в отдельности.

Действительно, симпатия по отношению к обвиняемым стала считаться характерной чертой русских присяжных, однако сравнение с опытом других стран, где институт присяжных существовал издавна, как в Англии, либо был введён в конце XVIII — первой половине XIX в., как в США, Франции и Пруссии, позволяет автору оценить «русский случай» более взвешенно. В революционной Франции процент оправдательных приговоров составлял примерно 50% и в 1889 г. достиг 27%, что вполне сопоставимо с российскими 36% в этом же году²⁴. В то же время анализ конкретных дел позволяет автору заключить, что не стоит говорить о «специфически русском милосердии» и тем более — о неприятии формального закона. Слишком часто речь шла о неудовлетворительной доказательной базе, не позволявшей с уверенностью вынести обвинительный приговор.

В России упор делался на вынесение вердикта «по внутреннему убеждению», что подразумевало «морализацию» преступления и увязывало процесс принятия решения с православной традицией милосердия и умиротворения (не случайно в отчётах постоянно сообщалось, что перед вынесением вердикта присяжные «трижды помолились»). Русские присяжные, по мнению Макрейнольдс, осознавали свой выбор как «личный и моральный», и действительно, в разбираемых ею случаях вынесенные приговоры поражают своей взвешенностью, человечностью и житейской мудростью. Однако автор указывает и на политический аспект деятельности присяжных. В условиях, когда российское самодержавие было озабочено исключительно охраной своих интересов (в частности, защитой чиновников от революционеров), институт присяжных выполнял ту же функцию, что и в Англии: это был инструмент для защиты индивида от государства²⁵.

Культурная специфика Российской империи, безусловно, заключалась в православном мировоззрении, ставившем во главу угла милосердие по отношению к «несчастливым» (слово, не имеющее прямых аналогов в английском языке, замечает Макрейнольдс). Но в то же время, не отрицая, что правовая культура в России находилась под несомненным влиянием православия, она упоминает о значительном воздействии пуританизма на американскую юриспруденцию и об отсутствии убедительных доказательств того, что русский народ был более религиозным, нежели другие.

Ещё одна линия сравнений, которую последовательно проводит Макрейнольдс, касается литературы о преступлениях. В англоязычной традиции существует различие между *detective fiction* — жанром детектива, описывающим про-

²⁴ Ibid. P. 98.

²⁵ Ibid. P. 108–109.

цесс расследования, и *crime fiction*, представляющим собой рассказ о совершении преступления. Первый отвечает на вопрос, кто совершил преступление, второй выстраивается вокруг вопроса, почему оно было совершено, и к этому жанру, строго говоря, относится роман «Преступление и наказание». Автор обращается к зарубежной традиции, чтобы показать особенности «русского» варианта криминального романа, где тема осмысления мотивов преступления была поднята на философскую высоту новым реализмом Достоевского. Авторитет его романов и личности самого писателя, активно интересовавшегося судебными процессами, был столь высок, что адвокаты многократно использовали, например, образ Раскольникова в своей защитительной речи, а присяжные при вынесении вердикта опирались на моральные суждения Достоевского о преступлении как о «грехе».

Что касается массовой криминальной беллетристики, то большинство её образцов не пережили своего времени. Однако в них проводилась та же мысль, что у классиков уровня Достоевского и Толстого: факты не могут объяснить преступление, поскольку оставляют «за кадром» мотивы преступника, а правосудие не может быть сведено только к Уголовному кодексу.

Водоразделом для автора является революция 1905 г., и наступивший после волны революционного насилия (и очевидного для всех бессилия полиции) период относительного спокойствия рассматривается во второй половине книги. Макрейнольдс уделяет внимание мероприятиям, направленным на усиление профессионализации в расследовании преступлений, прежде всего экспертизы и сыска. Этого требовали ускорявшийся темп городской жизни, мобильность населения, породившие тип «современного человека» – аморального индивидуалиста. Затем она обращается к узловым темам, которые можно было бы назвать предвестниками падения царского режима. Это отнюдь не рост крестьянского и рабочего движения, не деятельность возникших в России политических партий. Национализм, насилие, кризис гендерного порядка – вот фундаментальные проблемные точки, которые Макрейнольдс рассматривает на примерах громких процессов, а также на материале массовой детективной литературы и кинематографа.

Проходивший в 1911–1912 гг. в Италии процесс над Марией Тарновской и её любовниками привлёк внимание всего мира, в нём приняли участие ведущие итальянские юристы и психиатры, им интересовались писатели и общественные деятели. В ходе процесса расовый компонент выдвинулся на первый план, поскольку речь шла о «дегенеративной славянской душе», вырождающейся порочной аристократии и присущем русским как нации мазохизме. Как пишет автор, наращивавшая военные мускулы Италия настаивала на своём превосходстве перед «атавистической самодержавной Россией» и явно демонстрировала, что не нуждается в ней как в союзнике. Сама беспощадность дебатов, жёсткость расового дискурса напоминают читателю о грядущей мировой войне²⁶.

Предчувствие катастрофы присутствует и в последующих главах. Проблема насилия рассматривается на материале массовой культурной продукции – увлечения «пинкертоновщиной» и первых отечественных детективных фильмов, отмеченных ярко выраженной сенсационностью и направленных на стимуляцию эмоций публики. Автор выделяет два момента. Во-первых, склонность русских к трагическим и кровавым концовкам в противоположность голливудским хэппи-эндам (считалось, что этого требует публика). Во-вторых, фатализм, пронизывающий произведения массовой культуры послереволюционных лет, в кото-

²⁶ Ibid. P. 180–182.

рых превалирует чувство беспомощности, переплавляемое в эмоции, — от ярости до «губительной тоски». В центре внимания теперь находится не причина преступления, а его результат, причём преступнику часто удаётся избежать наказания и симпатии публики почти целиком на его стороне. Однако, в отличие от прошлого века, речь не идёт о сочувствии «несчастному» — совсем наоборот, публика поддерживает того, кто силой решил свои проблемы, пусть и ценой чужой жизни. Всё это, по мнению Макрейнольдс, демонстрирует, что за революцию 1905 г., её достижения и провалы, и главное — за волну насилия, захлестнувшего тогда страну, обществу пришлось заплатить непомерную цену²⁷.

Рассматривая череду громких судебных процессов 1912–1913 гг., связанных с убийствами женщин, автор обнаруживает в них признаки изменения гендерных норм и кризиса патриархальности, составлявшей основу социальной структуры самодержавной России. В прочтении Макрейнольдс, это был прежде всего кризис маскулинности и, кроме того, семьи, возглавляемой рациональным мужчиной. «Неврастеник», убивающий женщину или кончающий жизнь самоубийством, стал популярным главным героем массовой литературы и кинематографа. В противоположность «успешному буржуазному мужчине», русский герой не желает принимать на себя ответственность в трудной ситуации, аффект оправдывает любые его действия. Неспособность контролировать свои эмоции и ещё меньше — волю, по мнению Макрейнольдс, являлась важной чертой политической культуры России предвоенных лет.

Нацеленная на изучение эмоций и апеллирующая главным образом к ассоциативному мышлению читателя, книга американской исследовательницы мастерски написана и зачастую оказывается по-настоящему захватывающей. В то же время, не давая чётких формулировок, не подводя промежуточных и окончательных итогов, Макрейнольдс сильно затрудняет понимание своего труда. Порой это выглядит как небрежность и недоработка, а иногда даёт повод рецензентам неверно истолковывать намерения и мысли автора²⁸. В том же духе написано и «Заключение», от которого, казалось бы, мы вправе ожидать каких-то «перспективных» выводов. Макрейнольдс не связывает особенности правовой культуры начала XX в. — неуважение к государству, сочувствие преступнику, пассивность пополам с агрессией — с последующими революционными событиями 1917 г., ограничиваясь констатацией, что «советское» убийство в культурном и политическом отношении отличалось от «чисто русского»²⁹.

Нельзя сказать, что в рассмотренных исследованиях предложены какие-то новые концепции, способные заменить уже существующую. Скорее, предложена иная система координат или, если угодно, точка отсчёта. У Н. Коллманн это более широкое понимание государства, которое наиболее адекватно описывается в русском языке словом «страна», — поскольку население играет здесь основополагающую роль. У Л. Макрейнольдс — более широкое понимание общества и его функций, не сводимых к взаимоотношениям с государством. Не во всём можно согласиться с авторами; есть и некоторые неточности. Но в любом случае два столь различающихся и стилистически, и по кругу затрагиваемых проблем исследования побуждают двигаться дальше, искать новые подходы, выходить за рамки предписанных схем.

²⁷ Ibid. P. 233–234.

²⁸ См.: Oberländer A. Courtrooms most Russian? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Vol. 15. 2014. № 4. P. 902–909.

²⁹ McReynolds L. Op. cit. P. 269.